

Лидия Чарская

# Игорь и Милица



Лидия Чарская  
**Игорь и Милица**

«Public Domain»

1915

## **Чарская Л. А.**

Игорь и Милица / Л. А. Чарская — «Public Domain», 1915

"Венгерские гусары были совсем близко от них. Можно было разглядеть даже лицо каждого из них. Сердце застучало в груди Милицы сильнее; она услышала его удары и инстинктивно прижала к нему ладонь. Теперь разъезд был всего в нескольких шагах от них. Вот свободно уже различает девушка черные усы, высокую шапку и бегающие глазки передового гусара. Больше того, Милице кажется, что и он заметил ее и Игоря, притаившихся за крошечным холмиком, позади целого ряда бугров и кочек..."

© Чарская Л. А., 1915

© Public Domain, 1915

# Содержание

Часть I	5
Глава I	5
Глава II	7
Глава III	10
Глава IV	13
Глава V	17
Глава VI	23
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# Лидия Чарская

## Игорь и Милица

*Повесть для юношества из великой европейской войны*

### Часть I

#### Глава I

Звук гонга прозвучал над садом и протяжно замер вдали...

И в тот же миг в алом пламени заката, охватившем пожаром старый институтский сад, в его тенистых аллеях замелькали небольшие женские фигуры, устремившиеся на главную площадку, расположенную перед крыльцом.

Второй удар гонга застал воспитанниц уже выстроившимися стройными рядами перед высоким подъездом массивного, величественного здания, с окнами, эффектно озаренными алым румянцем заходящего солнца.

Классная дама в синем платье, с очками да круглом добродушном лице, несколько раз ударила в ладони и, повышая голос, сказала:

– В пары, дети, в пары. Идем к ужину.

Стройно, двумя рядами, двинулись большие и маленькие воспитанницы в длинных форменных платьях, с белыми передниками, покрывающими цветной жесткий камлот с белыми же пелеринками, наброшенными на плечи.

– Прощай до завтра, старый сад!

Полная, русоволосая девушка, находившаяся в последней паре, беспокойно оглянулась назад.

– А где же Милица? Ты не видала ее, Наля?

Высокая шатенка Наля Стремлянова покачала своей миниатюрной головкой.

– Она, кажется, была в беседке на последней аллее. Следовало бы ее позвать. А, впрочем, это дело Нюши. Кому же, как не нашей Гореловой позаботиться о её подруге?.. Боюсь, как бы не досталось Миле... Жаль ее... Она и так ходит какая-то грустная все последнее время.

– А ты думаешь, весело жить на чужбине, да еще тогда, когда её родина переживает такие тревожные дни?

– Ах, все мы оторваны от родных, все мы здесь на той же чужбине, – немного раздраженно произнесла толстуха. – Разве тебе, Налечка, приятно прозябать нынешнее лето в институтской тюрьме? И какое глупое, какое нелепое правило оставлять выпускной класс на все лето в институте якобы для усовершенствования в церковном пении и языках! Многому мы выучимся за три месяца, подумаешь!

И толстенькая Верочка капризно оттопырила губы.

– Ну, не скажи, – начала было её подруга и замолчала, остановившись на полупhrазе.

Перед обеими девушками появилась синяя фигура классной дамы, Софьи Никаноровны Кузьмичевой, дежурившей это лето у выпускных.

– Mesdemoiselles, вы не видели Петрович? Где она?

– В самом деле, где же Петрович? Где Милица? – пронеслось по рядам институток.

– В саду её нет, mademoiselle Кузьмичева. Я после первого гонга обежала все аллеи, – поспешила заявить маленькая, черноглазая, черноволосая Ада Зыркова, дежурившая в этот день.

– Не может быть, однако, чтобы она поднялась в такую рань в дортуар, – уже заметно начиная волноваться, сказала наставница.

– Надо спросить Нюшу. Нюша Горелова всегда с Милицей. Попугайчики *inséparables*, Орест с Пиладом... Спросите Нюшу! – послышалось из передних пар.

Худенькая, стройная, похожая на мальчика, с задорными карими глазами, Нюша в тот же миг предстала перед озабоченным лицом классной дамы.

– Где Петрович? Вы не видели ее? – И глаза из-под очков пытливо и внимательно посмотрели на молодую девушку. Но карие плутоватые глазки последней стойко выдержали этот взгляд.

Хотя Нюша Горелова, закадычная «на жизнь и на смерть» подруга молоденькой сербки Милицы Петрович, могла бы многое что рассказать, но она скорее даст отрезать себе язык, нежели выдаст подругу. Не скажет она, где её Миля, не скажет ни за что!

Потупляются лукавые, бойкие глазки, складываются с самым смиренным видом «коробочкой» руки у талии и, отвешивая низкий реверанс, черненькая Нюша отвечает самым невозмутимым тоном:

– Я не знаю, где Петрович, *mademoiselle*. Я ничего не знаю...

## Глава II

Алый пламень заката все еще купает в своем кровавом зареве сад: и старые липы, и стройные, как свечи, серебристые тополи, и нежные белостволовые березки. Волшебными кажутся в этот час краски неба. А пурпуровый диск солнца, как исполинский рубин, готов ежеминутно погаснуть там, позади белой каменной ограды, на меловом фоне которой так вычурно-прихотливо плетет узоры кружево листвы, густо разросшихся вдоль белой стены кустов и деревьев.

Где одна сторона каменной стены встречается, образуя угол, с другой, за плющевой беседкой, в образовавшемся за ней уютном маленьком уголке, за кустами дикого шиповника и волчьей ягоды, – там любимое место Милицы. Они, вместе с Ньюшей Гореловой, открыли его. И здесь они проводят большую часть дня, устроившись на толстом корявом суку древней вековой липы. Днем здесь тенисто и не жарко под защитой высокой стены, дающей прохладу вместе со старой липой, гостеприимно разбросавшей свои зеленые объятия, а вечером всегда чудесно-свежо и, главное, пустынно и тихо, вдали от шумного роя подруг, от доброй, но немного скучной m-lle Кузьмичевой, постоянно требующей от воспитанниц неизменной, то французской, то немецкой, болтовни.

Здесь же, среди кустов и зелени, под защитой белой каменной ограды, нет ни милых шаловливых воспитанниц, ни требовательной Кузьмичевой.

Даже свою любимицу Ньюшу Горелову отсылает часто отсюда Милица, чтобы, как следует, вдоволь погрезит и помечтать наедине самой с собой.

Ах, она любит эти тихие вечерние часы, эти алые закаты, это горящее гигантским рубином умирающее солнце! Любит – этот бесшумно подкрадывающийся вечер, постепенно выводящий агатовую ночь... Увы, до самой ночи ей здесь нельзя оставаться! С первым ударом вечернего гонга надо прощаться со своей милой засадой и спешить к ужину и к молитве. Какая тоска! Опять шум и гомон веселой девичьей стаи, опять периодические выкрики Кузьмичевой: «Parlez français, mesdemoiselles, mais parlez donc français»,<sup>1</sup> и милые, нежные заботы и расспросы Ньюши, от которых ей, Милице Петрович, хочется убежать и скрыться на край света порой.

Побыть бы подольше так, в тишине и покое! Отдаться сладким и грустным мыслям о далекой любимой родине, о том незабвенном и дорогом, что осталось позади, там, далеко, на берегу тихого Дуная и милой Савы.

И особенно теперь, когда темная туча собралась над родной стороной, когда последней угрожает страшная опасность от руки более могущественной и сильной соседки-Австрии, после этого несчастного убийства в Сараеве австрийского наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда,<sup>2</sup> убийства, подготовленного и проведенного какими-то ненавидящими австрийскую власть безумцами, и которое австрийцы целиком приписывают едва ли не всему сербскому народу!

Когда Милица прочла известие об этом роковом убийстве, то пришла в ужасное волнение, точно предчувствуя те последствия, которые повлечет за собой этот роковой случай. Точно кто-то шепнул Милице про эти страшные последствия для её милой родины; кто-то подсказывает ей, что грозная соседка маленькой Сербии, Австрия, придерется к роковому случаю, чтобы извлечь, возможно больше, выгод для себя за счет мирных соседских владений маленького королевства. Как и все её одноплеменники там, далеко, на берегах синего Дуная и Савы, Милица, оторванная уже шесть лет от родины, угадывала со дня Сараевского случая

---

<sup>1</sup> Говорите по-французски, барышни, да говорите же!

<sup>2</sup> 15 июня 1914 г. в Сараеве, городке, принадлежащем по аннексии Австрии и населенном по большей части сербами, были выстрелами из револьвера убиты эрцгерцог Франц Фердинанд с супругой.

всю неизбежность войны. Когда же появились в газетах несправедливые, жестокие требования, предъявленные ожесточенной Австрией маленькому Сербскому королевству за Сараевское убийство, на которые всё-таки почти согласилась Сербия, и которые, однако, не умиротворили Австрию, – все еще раз поняли, что война неизбежна. Газетное сообщение о предъявленных условиях Сербии Австрией, Милица прочла накануне вместе с подругами после вечерней молитвы и теперь душа молоденькой сербки не находила себе покоя.

Шесть лет тому назад, в силу сложившихся обстоятельств, её тетка, сестра отца и вдова убитого в турецкую войну русского офицера, взяла из родительского дома тогда еще десятилетнюю девочку Милицу и привезла ее в Санкт-Петербург.

Вся семья отставного капитана Петровича, отца Милицы, сражавшегося когда-то против турок в рядах русского войска и раненого турецкой гранатой, оторвавшей ему обе ноги по колено, жила на скромную пенсию главы семейства. Великодушный русский государь повелел всех детей капитана Петровича воспитывать на казенный счет в средних и высших учебных заведениях нашей столицы.

Старшие сестры Милицы, которой еще не было тогда и на свете, Зорка и Селена, теперь уже далеко немолодые женщины, имеющие уже сами взрослых детей, получили образование в петербургских институтах. Старший брат её, Танасио, давно уже поседевший на сербской военной службе, окончил петербургское артиллерийское училище. И ее, маленькую Милицу, родившуюся больше, чем двадцать лет спустя после турецкой войны, тоже отдали в петербургский институт, как только ей исполнилось десять лет от роду.

Из всей семьи только Иоле, маленький сын капитана Петровича, бывший только на год старше Милицы, провел все свое детство на родине, под боком у престарелых родителей. Счастливчик Иоле! Он мог теперь, в это тяжелое время, быть вместе с ними! Мог обсуждать совместно с дорогими стариками грозные обстоятельства, надвигающиеся тучей с австрийского горизонта! А она, Милица, она здесь – одна... Правда, ее любят подруги. Правда, они все здесь так предупредительны и добры к ней. Весь класс носит ее на руках, как говорится, и обращается с ней так чутко и нежно. Но никакие заботы, никакое сердечное расположение этих милых девушек не смогут заменить ей, Милице, хоть один час (хотя бы один только) пребывания её там, на родном берегу тихого Дуная, под родительским кровом милого, маленького, белого домика, среди дорогих, близких сердцу! Вместе бы надеяться и вместе бы горевать с ними в эти грозные и печальные дни! Что-то жгуче-острой волной приливает сейчас к сильно бьющемуся сердцу Милицы. Неудержимая грусть заставляет вдруг забиться сильно-сильно это маленькое встревоженное девичье сердечко. И синие, синие, как воды родной реки, глаза девушки туманятся теперь слезами.

Вот вспыхивает острым воспоминанием мысль... Близким воспоминанием родного прошлого... Дорогие сердцу картины, которых ни даль расстояния, ни время разлуки никогда, никогда не вытеснят у неё из головы...

Вот она, безгранично дорогая сердцу река. Сколько слез народных видели на своем веку эти тихие, безмятежные по виду воды!.. Греки, турки, болгары, австрийцы не однажды проникли сюда, в маленькое королевство, в его столицу, в белый город. На противоположном берегу реки, в какой-нибудь версте расстояния всего лишь от Белграда, стоит могущественная, сильная крепость австрийцев Землин, с дулами орудий, зловеще выглядывающими из амбразур её и направленными на сербскую столицу, утонувшую в зелени изумрудных виноградников и в кущах тенистых каштанов и тутовых садов.

Белые, чистенькие, по большей части одноэтажные домики. Изредка лишь попадаются трехэтажные здания на главной улице и на городской площади. Это – казенные здания, правительственные дома. И роскошный поэтический парк, разбитый на старых валах крепости, над самым берегом реки.

И большой, красивый королевский дворец «Новый Конак» на улице князя Михаила, с окружающим его нарядным садом...

Неподалеку отсюда кипит ярмарочная площадь. Сюда съезжаются окрестные крестьяне в повозках, запряженных волами. Здесь продают мясо, живность, поросят.

Сколько раз в раннем детстве убегала сюда вместе с Иоле, сопровождая няню Драгу, в утренние, ранние часы Милица! Синий Дунай в эти часы отливал золотом восходящего солнца. Тень бросала на дорогу изысканное кружево рисунка от листвы каштановых и тутовых деревьев. Белые домики города казались такими чистенькими, точно вымытыми чисто-начисто в этот ранний утренний час. И как весело было торговаться и спорить вместе со старой Драгой, с продавцами-крестьянами, не выпускавшими своих трубок изо ртов, под визг поросят, привязанных на веревках к колесам повозок. И потом возвращаться домой, нагруженными покупками и пить горячий турецкий мокко, мастерски приготовленный матерью. А вечером прогулки в тенистых аллеях Калемегдана<sup>3</sup> над тихо катящим свои волны Дунаем. Впереди мать осторожно подвигает вперед кресло отца-калеки; за ними чинно выступают они дети: Иоле и Милица. На ней низка ожерелья из дукатов и праздничное нарядное платье. А маленький Иоле еще наряднее. На нем турецкий костюм: джемадан<sup>4</sup> из алого бархата, суконная тюрче,<sup>5</sup> подбитая мехом, силай.<sup>6</sup> За него заткнуты игрушечный пистолет и ножик с рукояткой из слоновой кости. И поверх этого кожаного пояса другой, еще более широкий – шелковый, с бахромой. Красивые цветные чакширы,<sup>7</sup> на голове щегольская шапочка. Когда-то этот костюм носил их герой-отец, когда был таким же маленьким, как Иоле; потом старший брат артиллерист Тана-сио, тоже в свою бытность ребенком. Теперь он перешел к Иоле, к красавчику Иоле, любимцу семьи.

Как тяжело было шесть лет тому назад уезжать из дому! Помнит Милица последний вечер дома. Обегала она с Иоле и Драгой улицу князя Михаила в последний раз. Сбегали к самой воде Дуная... Углублялись в тенистые аллеи Калемегдана. Слушали музыку оркестра, особенно четко раздающуюся над водой. Потом последний ужин дома. Ужин за круглым столом, озаренным уютным светом лампы. Вкусная пшенная каша, сдобренная белоснежным свиным салом с тыквой и баклажанами из своего огорода. Потом напутствие отца... Слезы матери... Опять суровые и ласковые в то же время речи родного тато<sup>8</sup> о долге, о прилежании, о благодарности великодушному русскому государю и друзьям русским и, наконец, последняя ночь под домашним кровом... Последняя осенняя ночь, Белградская ночь, с её бархатным небом, с тихим плеском Дуная, с нежным шепотом каштанов и яблонь в саду... И печальные, заплаканные глаза матери у постели... И заглушенный подушкой плач брата Иоле, желавшего показаться во что бы то ни стало «мужчиной» в эти грустные часы, и стойко скрывавшего свои слезы перед разлукой с любимой сестренкой... А там отъезд... Смуглое лицо тети Родайки, её утешения в дороге и тоска по оставшимся дома, злая, гнетущая тоска...

---

<sup>3</sup> Калемегдан – общественным парк в Белграде.

<sup>4</sup> Джемадан – род жилета со шнурками.

<sup>5</sup> Тюрче – куртка.

<sup>6</sup> Силай – широкий кожаный пояс.

<sup>7</sup> Чакширы – особого вида шаровары.

<sup>8</sup> Тато – по-сербски означает папа.

### Глава III

– Милица!

– Ты, Нюша?

– Боже мой, Миличка, ты все еще здесь, а тебя там хватились. Ищут. Никому и в голову не пришло, конечно, заглянуть сюда. Кузьмичиха наша волнуется страшно, и, кажется, думает, что ты сбежала совсем. Потеха! Куда скрылась «млада сербка», не знает никто, кроме вашей покорной слуги, конечно. А ты притихла, как мышка, тебе и горя мало. И про Нюшу свою забыла совсем. Хороша, нечего сказать! – и маленькая Горелова укоризненно покачивает головкой.

– А я замечталась опять, Нюша, прости, милая! – Сине-бархатные глаза Милицы теплятся лаской в надвигающихся сумерках июльского вечера; такая же ласковая улыбка, обнажающая крупные, белые, как мыльная пена, зубы девушки, играет сейчас на смуглом, красивом лице, озаренном ею, словно лучом солнца. Так мила и привлекательна сейчас эта серьезная, всегда немного грустная Милица, что Нюша, надувшаяся было на подругу, отнюдь не может больше сердиться на нее и с легким криком бросается на грудь Милицы.

– Я люблю тебя, Милица, люблю, люблю! – горячо и искренно восклицает Нюша. Потом отстраняется от Милицы и смотрит в лицо подруги пытливо и серьезно, не говоря ни слова, несколько секунд.

– А у тебя опять заплаканные глаза, Миля? Ты плакала, да? О чем?

Статная, сильная Петрович на целую голову выше свое маленькой, хрупкой подруги. Она быстро наклоняется к Нюшину уху и шепчет ей тихо, чуть слышно:

– Молчи, молчи... Если бы твои мать и отец и любимый брат, такой, как Иоле, находились бы так далеко, могла бы ты веселиться без них?

– Упаси, Бог! – с искренним ужасом прерывает ее Нюша.

– Ну, так вот, видишь. Вот почему я и не могу быть веселой сейчас. Однако, пойдем... Боюсь, чтобы не вышло неприятностей на самом деле.

– Вот, когда хватилась! Ах, млада сербка, млада сербка, угомона на тебя нет, – забубнила ворчливым тоном Нюша, заставляя снова проясниться улыбкой строгое и грустное лицо подруги.

Алые краски заката давно погасли. Тихий, прохладный июльский вечер уже сплел над садом прозрачную паутину своих грустных сумерек. В окнах большого здания засветились огни. И Бог знает почему, напомнили эти освещенные окна института другие далекие огни Милице Петрович: золотые огни белградских домов и крепости, и огромного дома скупщины, отраженные черными в вечерний поздний час водами Дуная.

И опять болезненно сжалось сердце острой тоской, тоской по родине. И тяжелый вздох вырвался из груди Милицы.

Ужин был уже кончен, когда обе девушки появились в столовой. Шла вечерняя молитва. М-ле Кузьмичева метнула строгим взглядом из-под очков в сторону вошедших, но, встретив спокойный и невинный взгляд больших синих глаз Милицы, как-то успокоилась сразу.

Милица Петрович была гордостью и украшением Н-ского института. Училась и вела себя она прекрасно и считалась здесь одной из примерных воспитанниц. Во всяком случае, чего-либо дурного от неё ожидать было никак нельзя, а такой поступок, как самовольное опоздание к ужину и к молитве в летнее каникулярное время считалось далеко не такой уже важной провинностью против институтских правил.

Стройными рядами выстроились институтки около столов, ближайших ко входу в столовую. Остальные столы, дальние, пустовали. Весь институт отсутствовал, разъехавшись на летние вакации, за исключением старшего класса, которому надлежало, согласно старым тра-

дициям, проводить лето в учебном заведении для усовершенствования в языках и церковном пении, да еще десятка два воспитанниц младших классов, родители или родственники которых, по домашним обстоятельствам, не могли взять девочек на летнее каникулярное время домой. Огромная полупустая столовая казалась теперь еще больше. С дальнего образа, озаренного тихим мерцанием всяческой лампы, кротко сияло ясное лицо Спасителя, благословляющего детей. Сколько раз это божественное лицо приковывало к себе взоры Милицы на вечерней и утренней молитве. Сколько раз ей, еще маленькой седьмушке,<sup>9</sup> потом, позже, воспитаннице-подростку средних классов представлялось, что там, на этой священной картине-образе, находятся и они оба – она и Иоле, её черноглазый братишка, и их обоих, в числе других детей, благословляет Христос.

Со дня своего отъезда из Белграда, Милице ни разу еще не приходилось съездить хотя бы на самое короткое время домой. Все эти шесть лет проводила она каникулы у тети Родайки Петрович, снимавшей на летнее время крошечную избушку-дачу в одной из пригородных деревень. Теперь Иоле уже, конечно, не тот, каким она его помнит, важно выступающим по тенистым аллеям Калемегдана, в его живописном праздничном наряде.

В последнем письме мать писала Милице, что у него уже пробиваются усики и что он делает поразительные успехи в военной школе, на радость им, старикам.

Как скоро промчались, однако, эти шесть лет, несмотря на долгую разлуку! Уже восемнадцатый год пошел Иоле, а ей, Милице, уже стукнуло шестнадцать минувшей весной... Она – почти большая.

... «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое»... красиво и стройно заканчивает всеобщую молитву хор певчих-институтков, прерывая мысли Милицы. И вслед за тем с шумом отодвигаются деревянные скамьи. Институтки снова выстраиваются в пары и направляются к выходу из столовой.

– Миличка!.. Милица!.. Петрович!.. Где ты была, млада сербка? Куда запропастилась, скажи, пожалуйста? Кузьмичиха наша уже заявление в полицию подавать собиралась... Всех сторожей на поиски разослала и сама над ними командование принять уже собралась... Видишь, какой у неё воинственный вид приобрелся сразу. Экспедиционный отряд вышел бы хоть куда!..

О, эта Женя Левидович! Всегда насмешливая, всегда подтрунивающая над всем и над всеми.

Милица хочет ответить однокласснице в том же шутовском тоне и не успевает. Навстречу двум длинным шеренгам воспитанниц, подвигающимся к выходу из столовой, появляется инспектриса Н-ского института, Валерия Дмитриевна Коробова, заменяющая должность уехавшей лечиться на летнее время за границу начальницы. Лицо Валерии Дмитриевны сейчас торжественно и бледно. В руке она держит лист газеты, и пальцы, сжимающие этот лист, заметно дрожат. И так же заметно вздрагивают в волнении сухие старческие губы.

– Дети, – обращается она к остановившимся сразу при её появлении посреди столовой воспитанницам, – дети, то, чего так трепетно ждали эти последние дни на нашей славной родине и в далеком маленьком королевстве Сербии, свершилось. Вы уже знаете, что какие-то злоумышленники в Сараеве, в городе, населенном по большей части славянами и отошедшим несколько лет тому назад от Турции к Австрии вместе со всей Боснией и Герцеговиной, убили австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену во время их пребывания там. Австрийское правительство, всегда весьма недоброжелательно относившееся к славянам, обвинило теперь в этом убийстве тех, кто совершенно не повинен в ужасном кровавом деле и представило сербскому правительству карающие за это убийство условия, такие несправедливые и жестокие, которые другое государство отвергло бы с негодованием и возмущением. Но

---

<sup>9</sup> Младшим классом в институте считается седьмой.

Сербия, не желая нарушать мира, вопреки даже чувству своего достоинства, как самостоятельного и независимого государства, все-таки согласилась почти на все эти ужасные требования, кроме одного-двух пунктов... Однако, Австрия, ища во что бы то ни стало разорения своей маленькой соседки, несмотря даже на её уступки, объявила ей войну. И вот, из этой газеты уже известно о нападении австрийцев на сербское судно... О бомбардировке Белграда из крепости Землин, о...

Старая инспектриса смолкает на полуслове. Развернутая газета выскользывает у неё из рук и с тихим шелестом падает на пол. Отчаянный, душу раздирающий крик проносится в ту же минуту по огромной столовой, и Милица Петровна, лишившись чувств, падает на руки подоспевших к ней подруг.

## Глава IV

Рано и бесшумно разошлись в этот вечер по своим углам выпускные институтки. Рано засветились на ночных столиках у постелей огоньки их «собственных» свечей. Девушки собирались в группы на кроватях соседок и вполголоса совещались между собой о наступивших событиях. Говорили тихо, почти шепотом, чтобы не потревожить измученную слезами и горем Милицу Петрович, совместными усилиями подруг уложенную в постель.

Около затихшей, обложенной подушками, молодой сербки оставалась дежурить одна только Нюша Горелова. Она с трогательной заботливостью меняла мокрые, смоченные водой с одеколоном, полотенца на черненькой головке Милицы, давала ей от времени до времени нюхать спирт, поила успокоительными каплями. Она, как и все её одноклассницы, воспротивилась помещению Милицы в лазарет, уверив классную наставницу, уже собравшуюся было отправить туда Милицу, что тут, среди подруг, на людях, молоденькой сербке будет легче переносить её горе. Действительно, горе Милицы было глубоко, и она как бы замерла в нем. Глубокий обморок девушки сменился потрясающими душу слезами.

Молоденькая сербка рыдала так, что вчуже было жалко смотреть на нее. Впрочем, плакала не одна Милица. Глядя на свою любимицу, весь старший класс не мог удержаться от слез. Все знали из рассказов юной сербки о её далекой маленькой родине, такой безобидной и дружелюбной, о смелом и отважном маленьком народе. Знали и об отце Милицы, старом боевом герое, грудь которого была вся увешена орденами, пожалованными ему еще Императором Александром Вторым. Знали о старшем, уже пожилom, брате Милицы – артиллеристе... И о красавчике, любимце её, мальчике Иоле, которому по карточке и по рассказам, не жалевшей описательных красок Милицы, заочно симпатизировал весь класс. И теперь каждая из этих милых, чутких и отзывчивых девушек отлично сознавала ту огромную опасность, которая грозила всему Белграду, с его жителями, всей маленькой, гордой и прекрасной стране, готовой подняться, как один человек на защиту своей родины, честь которой была так несправедливо оскорблена её жестокой соседкой.

Обычное вечернее шумное движение в дортуарные часы, это лучшее институтское время для юных затворниц, сменилось тихим и бесшумным.

Собиравшиеся в группы институтки толковали сдержанно, тихо волнуясь, строя предположения и тут же разрушая их, споря между собой.

– Теперь и у нас с немцами война неизбежна, потому что Сербию не оставит в такое тяжелое время наш ангел Государь... Это говорил мне мой папа, когда заходил ко мне дня три тому назад. Папа говорил, что германский император Вильгельм непременно станет на сторону своих союзников-австрийцев, – говорила, оживленно жестикулируя, хорошенькая брюнетка Аля Миродай.

– Конечно, за этих противных австрияков заступится Вильгельм, – хорохорилась Зина Любинская, всегда очень интересовавшаяся политикой и прозванная остроумной Женей Левинович «министрам без портфеля» к немалому неудовольствию самой Зины.

– Непременно заступятся друг за друга колбасники! Вот увидите, непременно... – подтвердило еще несколько голосов.

– Тише, mesdam'очки, тише, Милю разбудите; она только что задремала, бедняжка!

– Как хотите, дети мои, а если это так действительно случится, то я Лизе Кранц с нынешнего дня перестану симпатизировать и подвергаю ее бойкоту. Ведь она немка! – объявляет маленькая, со вздернутым носиком, блондинка Катя Парфенова.

– Ну и глупо, – вполголоса обрывает ее Наля Стремлянова, насмешливо покачивая головой, – Лиза Кранц – остзейская немка и наша русская подданная и смешно, право...

– Завтра, mesdames, молебен будет, – перебивая Налю, говорит её подруга Верочка, – молебен о ниспослании победы сербскому оружию, у нас в церкви, я слышала, как инспектриса говорила нашей Кузьмичихе.

– Если будет война у нас с австрийцами и немцами, то моих обоих братьев возьмут: оба – офицеры, – слышится чей-то грустный голосок.

– А у меня папу. Папа полковой командир, – вторит ему другой.

– И мой папа пойдет. Он командует полком, недалеко от австрийской границы. В первую голову пойдет со своими солдатами.

– Господи! Господи! – слышится чей-то тихий подавленный вздох.

И вдруг совсем едва внятное рыдание раздается в дальнем углу дортуара. Это плачет Маша Пронская. Её отец тоже заведует пограничным отрядом таможенников и, наверное, при объявлении войны, первым пойдет в дело. Волнение Маши передается и остальным. Теперь всхлипывания учащаются. То в одном, то в другом уголке длинной, похожей на казарму, комнаты раздаются тихие заглушенные рыдания.

Кружки девушек сближаются теснее. Крепче прижимаются они одна к другой... Прильнув плечом к плечу подруги, тихо, беззвучно плачут они. Нет ни одной из здесь находящихся воспитанниц, у которой не было бы отца, брата или родственника, служащего на военной службе. Даже самые благоразумные и сдержанные повесили сейчас головы. Что-то гнетущее, тяжелое, как тяжелая, свинцовая, предгрозовая туча повисло над всеми этими печально поникшими головками. Разрывались девичьи сердечки, в предчувствии возможных грядущих бедствий. Хотелось каждому из этих юных, затуманенных печалью, существ безудержно заплакать, зарыдать навзрыд, слабо, жалобно, по-детски.

Уже Верочка Иванова, прильнув к своей подруге Нале, задыхается от беззвучных рыданий, а маленькая, жизнерадостная блондинка Парфенова, которая только что собиралась бойкотировать немку Кранц, теперь плачет трогательно и беспомощно, по-детски, тиская мокрыми пальцами смятый в комок носовой платочек. Никто уже не хочет больше слушать друг друга. Все отдалось захватившему их порыву. Лишь немногие, сохранившие спокойствие, шепотом утешают подруг, но и эти готовы заразиться всеобщим угнетенным настроением, разрядившимся горькими слезами.

И вот, заглушая неожиданно сразу все эти всхлипывания, весь этот плач, низким грудным голосом заговорила девушка с синими глазами и смуглым, нерусским южным лицом. Когда поднялась со своей постели Милица Петрович; как успела она незаметно приблизиться к самой большой группе воспитанниц, собравшихся у кровати Нали Стремляновой, решительно никто не успел заметить.

И только, когда синие, сейчас заплаканные, с припухшими веками, глаза Милицы обвели собравшихся в кружок девушек, а глубокий, низкий, грудной голос её прозвучал над всеми этими склоненными головками, многие из них опомнились и подняли на говорившую влажные от слез глаза..

– Ты? Миля? Зачем ты встала? Тебе лучше? – полетели отовсюду вопросы.

– Встала затем, чтобы успокоить вас, милые вы мои, – зазвучал снова бархатистыми нотками глубокий голос Милицы, – чтобы сказать вам, что преждевременны ваши слезы. Подтвердить вам то, что я с детских лет слышала от моего отца, старого боевого ветерана, от брата Тана-сио, офицера и удальца. Русский народ – славный народ. Полки ваши многочисленны, войска так сильны, что никакие австрийцы и немцы вам не могут быть страшны. И ваш великодушный государь двинет эти полки на защиту нашего маленького славянского народа... Я верю, что при помощи русского войска мы победим сильнейшего врага. И мне стыдно сейчас, что я плакала, как маленькая девочка; мне было страшно за Белград, за тато, за милую мамочку, за Иоле, моего любимца... Ведь в них, в наш город направлены теперь австрийские снаряды. Ведь каждый из белградцев, их жены и дети находятся в смертельной опасности сейчас... Но отча-

янием и слезами все равно ничему не поможешь... Надо твердо уповать на победу и молиться о ниспослании её. Да, плакать не время... Если бы наш народ был таким же многочисленным, могущественным и сильным, как вы – русские, разве хоть капля сомнения или отчаяния могли бы проникнуть в мою душу, когда я узнала о войне наших с этой жестокой и кровожадной Австрией? – закончила вопросительно свою горячую речь Милица, и обвела теснившихся вокруг неё подруг горячим, сверкающим взглядом.

Её смуглое лицо раскраснелось. Следы недавнего отчаяния и слез уже давно исчезли с него. Их заменила непоколебимая уверенность, сквозившая теперь в каждой черточке этого юного, воодушевленного личика, горячая уверенность в чистоту правого дела, в победу...

И это настроение молоденькой сербки передалась невольно и её юным подругам. Лица девушек прояснились; носовые платки постепенно исчезли и вновь загоревшиеся оживлением синие, серые, карие и черные глазки устремились в смуглое лицо Милицы.

– Она права, млада сербка права, mesdames, – первая подняла голос Наля Стремлянова, – рано еще объявлена, а объявят ее – так разве же не можем мы быть уверены в несомненной победе наших? Ведь, защищая обиженных братьев-славян, поднимет оружие наша милая родина, голубушка-Россия. Так говорили мне мои братья, мой отец, все старшие. Так неужели же Господь не поможет нам победить зазнавшегося врага?

– Победят! Победят! Конечно! – вдохновенно подхватили кругом молодые голоса, – Господь Бог ниспошлет победу тем, кто обижен невинно, чье дело право и честно, иначе не может быть.

В тот же вечер, когда уснули ближайšie соседки по дортуару Милицы и мерное дыхание спящих воспитанниц наполнило тишину огромной спальни, молоденькая сербка вынула из ночного столика, хранившийся там у нее огарок свечи, и из пачки бумаг находящейся тут же, в шкатулке почтовый лист, конверт, дорожную чернильницу и ручку.

Несколькими минутами позже она уже писала при свете огарка под монотонное похрапывание соседок по дортуару, со сжатыми бровями и сосредоточенным лицом.

*«Дорогая тетя Родайка!*

*Ты уже, конечно, знаешь то, что знает весь Петербург, вся Россия, что не замедлит вскоре узнать и вся Европа и весь большой мир. Австрия объявила войну нам – сербам и уже разбойнически напала на нашу дорогую родину. В газетах уже есть слух о бомбардировке Белграда. Что переживают там наши близкие, мы обе можем себе легко представить. И я, оторванная от семьи, находясь от неё так далеко, я не хочу в это тяжелое для нас всех время оставаться вдали от своих. Танасио и Иоле пойдут, конечно, сражаться наряду с прочими нашими орлами-воинами, но бедный таткалека и дорогая моя мамочка останутся без поддержки, одни. И я, как дочь их, горячо любящая своих родителей, должна находиться в это тяжелое время около них, поддерживать их бодрость, настроение, а также и ухаживать за нашими ранеными воинами. Я умею накладывать повязки, промывать раны, словом, смогу быть полезной по мере сил и надобности. По крайней мере, приложу к этому все усилия. И ты должна помочь мне осуществить мое желание, тетя Родайка. Ты должна приехать за мной и взять меня из института. Если ты скажешь, что я поеду домой, на родину, в Белград, начальство, конечно, меня не отпустит из страха перед возможной опасностью. Но, тетя Родайка, ты умная и чуткая и ты поймешь, что твоя Милица не сможет сидеть сложа руки здесь, в холе и довольстве, когда каждую минуту её близкие, дорогие её сердцу люди подвергаются смертельной опасности; когда, наконец, там в Белграде, каждая рабочая рука на счету, каждый человек, каждая сестра милосердия, не говоря уже*

*о больших деятелях военного времени. И вот, я решила наравне с другими нашими сербскими девушками и женищинами оказать свою крохотную помощь героям-воинам. Приезжай же за мной, тетя Родайка, и увези меня отсюда; увези покамест к себе домой. Это, право же, не так трудно сделать. Каждая из нас, старшеклассниц, оставшихся на лето в институте, имеет право провести дома или у родственников две-три недели каникул. Воспользуйся этим, тетя Родайка, молю тебя, и, получив это письмо, тотчас же приезжай за любящей тебя твоей*

*Милицей».*

## Глава V

Госпожа Родайка Петрович, старая, почтенная, много повидавшая на своем веку женщина, лучше чем кто-либо другой, знала душу своей любимой племянницы Милицы. Знала и то, что с минуты объявления войны Австрией Сербии, молодая девушка не найдет себе ни минуты покоя, находясь вдали от родины и семьи. Знала, что Милица будет порываться всем существом своим ехать в Белград, где находились сейчас в такой опасности все близкие её сердцу; что, все равно, всякие занятия и ученье в институте вылетит у неё из головы и, что самое лучшее будет – это доставить возможность девушке проследовать на родину, где уже были вся её душа, все её мысли. Поэтому тетя Родайка и согласилась, скрепя сердце, на просьбу племянницы. Согласилась пойти на компромисс с собственной совестью и, скрыв от институтского начальства истинную причину отъезда Милицы на каникулы, рискнула взять ее к себе и от себя уже отправить девушку в дальний путь, на её родину, в Белград. Правда, сердце тети Родайки сжималось от страха за участь её любимицы. Старуха отлично сознавала, что не на радость отправит она туда свою Милицу, что пребывание в обстреливаемом тяжелыми австрийскими пушками городе, чрезвычайно опасно для жизни обитателей сербской столицы. Но, с другой стороны, сама глубокая патриотка, тетя Родайка понимала порыв племянницы, сочувствовала ей и не находила в себе силы отказать Милице в её просьбе.

Квартира, занимаемая госпожой Родайкой Петрович, находилась в одном из глухих переулков на окраине города и состояла из трех крошечных комнат, скромно, но чисто меблированных.

В день приезда к ней Милицы, которую тетке удалось взять из института, как будто бы для трехнедельного каникулярного отдыха к себе домой, в это самое утро приезда девушки, был назначен первый день мобилизации в столице.

Уже давно замечала наша доблестная, святая родина недостойные по отношению к ней поступки её ближайших соседей – немцев. Россия была хорошо осведомлена о желании тевтонов, так или иначе, во что бы то ни стало, добиться войны с нами. Целый ряд немецких подпольных интриг доказывал это. Теперь же, после Сараевского убийства, Германия открыто примкнула к Австрии в её враждебных действиях против славянского мира. И вот, хорошо сознавая воинственную политику нашей беспокойной соседки, Россия, во избежание нападения на нас врасплох союзных государств – Германии и Австрии, стала принимать должные меры, чтобы приготовить к возможности такого нападения наше славное войско.

Изо всех городов, сел и деревень обширной матушки-Руси стали стекаться по первому зову правительства молодые и старые запасные солдаты. Они покидали свои семьи, престарелых родителей, жен и детей, бросали полевые работы, оставляя необранным хлеб на полях, чтобы стать в ряды русских войск, готовившихся к защите чести дорогой России и маленького славянского королевства.

Из окон теткиной квартиры Милице были видны ворота расположенного против них великана-дома, в огромном дворе которого происходил прием и запись части собранных сюда запасных. Там с самого раннего утра кипела жизнь: принимались и распределялись по частям войск офицерами и чиновниками военного ведомства все собравшиеся сюда из близких и дальних городов, сел и деревень уволенные было на мирное время в запас солдатики. Здесь были люди разных слоев общества и профессий. Наряду с хорошо одетыми интеллигентами стояли бедные мужички в лаптях и заплатанных кафтанах. Около купца-торгаща – фабричный работник. Около учителя – бедный каменщик. А у ворот, со стороны улицы, с узелками в руках и с взволнованными лицами ожидали призванных по мобилизации простолудинов их матери, сестры, жены и дети. Они пришли проводить своих кормильцев, провести последние дни и часы вместе с ними. Женщины смотрели бодро, спокойно. Не слышно было ни жалоб, ни при-

читаний. Не видно было слез. Даже маленьким детям матери их внушили не плакать при прощании с отцами и старшими братьями. Все, казалось, понимали всю торжественность случая, когда могучая русская армия готовилась к защите своей родины и всего славянства.

Милице, стоявшей у окна, была хорошо видна вся эта картина. Стоял ясный, безоблачный, июльский полдень. Солнце улыбалось светлой, радостной улыбкой. Празднично-нарядное небо ласково голубело с далеких высот. Тети Родайки не было дома. Она ушла за покупками на рынок и никто не мешал Милице делать свои наблюдения из окна.

Вот широко раскрылись ворота знаменательного дома и находившаяся во дворе партия запасных, в сопровождении примкнувших к ней женщин и ребятишек, высыпала на улицу.

«Боже, Царя храни...» затянул неожиданно чей-то высокий голос из толпы призванных.

«Сильный, Державный, царствуй на славу...» подхватили сотни дружных голосов, и могучей волной разлился по улице хорошо знакомый каждому русскому сердцу национальный гимн.

Милица распахнула окно.

Какие бодрые, какие спокойные, какие мужественные у всех этих людей были лица!.. Некоторые из запасных шли по тротуару: проходили мимо её окна так близко, что можно было слышать обрывки разговоров, долетающие до её ушей.

– Не горюй, Матрена, – утешает бородатый мужик шагающую с ним об руку женщину в платочке, к подолу которой прицепился пятилетний мальчонка с замусоленным бубликом в руке. – До рева ли тут, когда, слышь, вся Русь по призыву царя-батюшки поднимается на защиту славян, да нашей чести! Слышь, нам немцы грозятся... Так надоть их чин-чином встретить, при всей нашей боевой, значит, готовности, времени попусту зря не тратя... Вот и раздумай, голубушка, стоит ли таперича горевать?..

А вот другой запасный, фабричный мастеровой, несет на руках грудного ребенка; за тяткину куртку уцепилась в свою очередь подросток-девочка. За ними шагает с поникшей головой их еще совсем молодая мать.

– Тебе я, Сереженька, две крепких рубахи положила в сумку, да чаю, сахару, да табаку четверку, – с покорным видом перечисляет она, не поднимая на мужа опечаленных глаз.

А вот круглолицый, бойкий парень, по виду приказчик, бережно поддерживая под руку старую мать, говорит внушительно:

– Вы не сумлевайтесь, маменька, молитесь покрепче, да частицу о здравии раба Божьего Дмитрия вынимайте каждое воскресенье. Вот и помилует меня Господь Бог от вражеской пули.

– Буду, Демушка, буду молиться, желанный, – звучит в ответ надтреснутый старческий голос.

– А Белград-то все еще держится, братцы, – говорит кто-то в толпе, когда затихает могучее ура, закончившее спетый гимн. – Экие молодчинищи! Право слово, – молодцы. Сербия-то, ведь, маленькая, крошка, супротив ихней австрийской земли, а какие, братцы мои, орлы, – подтверждает другой голос.

– Что и говорить. Живио им, братцы! Скричим им живио! Всей артелью скричим, – подхватывает третий... И прежде, нежели могла этого ждать стоявшая у окна Милица, могучие перекаты «живио», этого родного её сердцу сербского ура, огласили улицы...

– Живио! – вне себя, вся подавшись вперед, захваченная общим восторгом, крикнула и молодая девушка, с загоревшимся мгновенно взором, с ярко вспыхнувшим румянцем на смуглом лице. Проходившие близко к окну запасные заметили ее, так горячо подхватившую их крик. Высокий, плечистый парень остановился на минуту перед окошком.

– Никак сербка, либо болгарка, барышня, – нерешительно проронил он, глядя в лицо Милицы добрым, сочувственным взглядом.

– Сербка и есть, – подхватил другой – молодой, темноглазый рабочий.

– Вы сербка? – смело обратился он уже непосредственно к Милице.

– Да, да – сербка, – радостно, сияя воодушевленным лицом и блестя глазами, закивала им девушка.

– Так живио и вам! Да здравствует Сербия! Да здравствует король Петр и королевич Александр! Живио! Живио! Живио! – подхватил пожилой, хорошо одетый запасный.

– Да здравствует Россия! Боже, храни русского царя! – дрогнувшим голосом крикнула в ответ им Милица и махнула платком, высоко поднятым над головой. – Ура русскому царю, ура!

– Ура! – подхватили ближайšie ряды запасных и их жен и даже маленькие дети.

И снова торжественно и гордо зазвучали победные звуки русского национального гимна.

\* \* \*

Когда тетя Родайка вернулась из лавок, она не узнала Милицы, казавшейся такой озабоченной, печальной и угнетенной в это утро.

– Я видала нынче русских героев, тетя Родайка: настоящих героев. Они готовы защищать своих более слабых по численности славянских братьев не на жизнь, а на смерть защищать! О, тетя, – захлебываясь от восторга, говорила она, это – орлы! Это титаны. Титаны-богатыри, говорю я тебе! Сколько в них спокойствия и уверенности в своем праве. Сколько мужества и великодушия, если бы ты знала, – и Милица наскоро передала старухе вынесенные ею впечатления сегодняшнего утра.

А вечером она провожала своих одноплеменников сербских офицеров, уезжавших на театр военных действий. Провожала их не одна Милица. Провожал чуть ли не весь Петроград, собравшийся бесчисленной толпой манифестантов из всех углов столицы. Эта огромная толпа народа запрудила Невский, двигаясь по направлению Николаевского вокзала, откуда должны были отправиться на родину сербский полковник Михайлевич и капитан Львович,<sup>10</sup> жившие до сих пор в России. Милица, на имеющиеся у неё жалкие копейки, купила цветов и, прижимая к своей груди нежную белую лилию и две пахучие алые розы, пробралась на вокзал.

Здесь, затерянная в толпе, прислонившись к стене платформы, она издали следила большими пламенными глазами за чествованием русскими манифестантами её одноплеменников-сербов. Ей было видно, как толпа на руках внесла обоих офицеров на дебаркадер под крики «живио» и под пение сербского гимна.

Смуглые, загорелые, со смелыми открытыми лицами, сербы улыбались, блестя глазами, сверкая белыми зубами, крича в ответ русской толпе:

– Ура! Да здравствует император Николай, да здравствует Россия!

Их качали без конца, забрасывали цветами. Огромные букеты и маленькие букетики дождем падали к их ногам... Офицеры налету подхватывали их... Улыбались снова, кивали головами направо и налево и снова кричали «ура».

Под звуки народного гимна русская учащаяся молодежь с горящими воодушевлением лицами по несла их к вагону.

– Дорогу, господа, дорогу! – выбиваясь из сил, кричали студенты, поддерживавшие порядок на платформе. И толпа беспрекословно раздавалась на обе стороны, образуя проход.

– Счастливый путь! Дай Бог успеха вашему оружию! Помогай вам Бог! – раздавались то и дело то здесь, то там взволнованные голоса. И снова все слилось в воодушевленных «ура» и «живио», соединенных вместе.

Тогда один из сербских офицеров сделал движение рукой, призывая к молчанию толпу. И когда все стихло на дебаркадере вокзала, капитан Львович начал:

– Наше маленькое королевство счастливо имеет такую великодушную и могучую сестру, дорогую каждому нашему сербскому сердцу – Россию. Ваша святая родина – покровительница

---

<sup>10</sup> Фамилии изменены.

наша, – горячо и искренно срывалось с губ оратора: – и наш храбрый народ, готовый биться до последних сил с таким сильным и кровожадным врагом, как Австрия, верит и знает, что его старшая сестра вместе с её великим царем, могучим императором русским, придет к ней на помощь... Верит тому, что славный народ русский не даст в обиду своих славянских братьев и поможет отразить нам, сербам, занесенный над нашими головами вражеский меч. Боже, храни русского царя и великую Россию, нашу старшую сестру. Ура!

Едва только успел договорить свое последнее слово капитан Львович, как десяток тысяч голосов мощно запел национальный гимн. И снова дождь цветов посыпался на оратора...

Милица поднялась на цыпочки, с трудом подняла руку, в которой осторожно до сих пор сжимала нежные стебли купленных ею цветов и, взмахнув ими, бросила свой скромный букетик в ту сторону, где под пение гимна толпа качала на руках сербских офицеров. И того, чего вовсе не ожидала Милица, на что не смела надеяться даже, случилось вслед за этим. Розы рассыпались, не долетев по назначению, тогда как нежный белый цветок лилии упал прямо на грудь капитана Львовича. Офицер подхватил его и быстро повернул голову в ту сторону, откуда прилетел к нему этот белый цветок. И в ту же минуту глаза его, обежавшие толпу, остановились на смуглом лице Милицы... Встретясь с этими горящими воодушевлением и восторгом глазами, молодой офицер узнал по смуглому лицу и по исключительному воодушевлению свою одноплемянницу и, махнув цветком в сторону Милицы, тотчас же осторожно и нежно прижал к своим губам его белые лепестки. А огромная толпа по-прежнему гремела «ура» и «живию»... Гремела до тех пор, пока не отошел от платформы поезд, увозивший героев, защитников маленькой Сербии, на их многострадальную родину, к возможной смерти, к бесспорной славе...

\* \* \*

Теплый июльский вечер. В маленькой квартирке тети Родайки жарко, почти душно, несмотря на раскрытые настежь окна.

Только что возвратившаяся с вокзала Милица, волнуясь и сверкая глазами, передает тетке все происходившее там...

– Завтра же, завтра отправь меня на родину, тетя, – заканчивает она свой рассказ горячей мольбой. – Я не могу оставаться здесь дольше. Каждый лишний день, проведенный тут, делает меня преступницей, тетя... Там, на родине нашей, уже кипит война... сражаются наши братья-сербь. Может, и Иоле уже принял свое первое боевое крещение... А наши женщины в Белграде трудятся в госпиталях, помогая раненым, перевязывая их раны... Я не могу оставаться здесь дольше, пойми меня, тетя, не могу сидеть сложа руки... Нет, нет... Милая, голубушка, отправь меня завтра же домой. Ты же обещала, сама обещала мне это...

И черные глаза Милицы впииваются в лицо старой сербки молящим взглядом. Тетя Родайка с минуту молча смотрит на племянницу... О, как знакомо ей это юное, воодушевленное лицо! Лет около сорока тому назад, такие же глаза сверкали подобным же страстным воодушевлением. И такие же точно пылкие речи слышала она от своего брата Данилы. Тогда разгорался пожар освободительной войны... Русские витязи стали за свободу Болгарии, теснимой турецкой силой... И в рядах этих витязей сражались и сербы и брат её Данило. То было давно... Чуть ли не четыре десятка лет минуло с того времени. И теперь такое же время повторяется, но только не сам Данило, а сыновья его, вместо престарелого калеки отца, идут отстаивать свободу, честь и благо дорогой родины... И эта девочка спешит им на помощь... Что же?.. Бог ей в помощь, пусть едет... Она, тетя Родайка, сама бы поехала туда охотно ходить за искалеченными воинами, перевязывать их раны... Да стара она стала... Не вынести ей труда... Пускай же заменит ее Милица. Молодость, силы, энергия – все дано этой девушке, дочери героя... Так пускай же она и использует свои силы на помощь родной стране!

Резкий звонок, раздавшийся в прихожей, заставляет старую госпожу Родайку Петрович вздрогнуть от неожиданности.

– Поди, Милица, открой – приказывает она племяннице, а сама с тревогой смотрит на дверь.

– Кто там, Милица?

– Почтальон, тетечка, почтальон, и голос Милицы заметно вздрагивает, повторяя это слово.

– Откуда письмо, девочка?

Но ответа нет. Только слышно шуршанье бумаги в прихожей. Очевидно, Милица читает письмо... Что же она медлит, однако? Почему не возвращается в маленькую, уютную столовую? Что с ней? Тетя Родайка, начиная волноваться, невольно поднимается со стула и идет узнать, в чем дело.

В крошечной прихожей темно. Но не настолько темно, чтобы нельзя было различить белую, как известковая стена, Милицу, её испуганно-страдальческие глаза и скорбное выражение на юном, за минуточку еще до этого таком спокойном личике.

– Что с тобой, девочка, что?

Но Милица не в силах ответить. Только протягивает тетке дрожащей рукой письмо. Сама же, прислонившись к стене, глухо, беззвучно рыдает, сотрясаясь всем телом.

Тетя Родайка, сама страшно волнуясь, едва находит в себе силы открыть футляр с очками, надеть последние, подойти к окну и прочесть крупным, мужским почерком набросанные строки.

Письмо из Белграда. Сам капитан Данило на этот раз пишет дочери.

*«Жива была,<sup>11</sup> любимая моя дочка, Милица. Хвала Господу Вседержителю, твои мать, братья, сестры и калека-батяка твой здоровы, да помилует нас Бог. А вот великое злонесчастье пришло к нам, дочка. Проклятые австрияки бьют наш Белград. Пушками бьют со своего берега из Землина и с судов на Дунае и Саве. Многие здания уже попорчены их снарядами, так что и узнать нельзя. Многих людей они загубили здесь, злодеи. То и дело ждем – нагрянут следом за канонадой и сами сюда. Наши храбрый королевич, храни его Силы Небесные на многие годы, он – витязь славный, скликает уже наших юнаков-богатырей. Всюду спешно идут приготовления к защите. Набираются войска, дружины храбрецов. Танасио получил тяжелую батарею, а Иоле-орленок вышел из училища к нему в часть. Мать слезами обливалась, благословляя свое сокровище, а все-таки отпустила с охотой общего нашего любимца. Пусть защищает родину святую и знамена нашего короля Петра. Эх, кабы не был я сам калекой, не сидел бы чурбаном неподвижным, прикованным к креслу, до самой смерти, – не поглядел бы на свои шестьдесят пять лет: потрянул бы стариной и как бил когда-то турку, так и австрияка негодящего пошел бы бить. А теперь сиди неподвижно, да слушай, как рушатся дома нашего города от вражских снарядов, да стонут раненые, да плачут жены и дети убитых. А за нас ты не бойся, Милка, – как начинают бомбардировку враги, уходим в землянку, что на краю сада, где сохраняем припасы, да яблоки зимой. Там безопасно. И сестры твои Зорка и Селена с детьми туда же приходят. Только ты не вздумай проситься к нам. Живи покуда в России. Живи там и молись за нас, дочка, особенно за Иоле, соколенка нашего, за храбреца Танасио, за всех. Вот тебе мой приказ и мое отчее благословение. А теперь будьте здоровы с сестрой Родайкой. Мать*

<sup>11</sup> «Жив был», «Жива была» – иногда употребляется южными славянами вместо «здравствуй».

*кланяется и молит Бога за вас. Так помни же, дочка, и думать не смей на родину возвращаться, пока длится военная страда. Забот да горя и без тебя здесь немало у нас.*

*Твой любящий отец  
капитан Данило Петрович».*

– Пропало, все пропало – беззвучно прошептали губы Милицы, и слезы крупными каплями потекли по её щекам, пока тетка читала вслух роковые строки. Та только покачала седой головой.

– Горе-то, горе какое! В огне наш город! В опасности родина... Что ж будешь делать, – надо смириться, детка. И тебе тоже смириться надо. Отец правду пишет: куда тебе ехать сейчас? Читала письмо? Город бомбардируется... Кругом неприятели... Попадешься им в руки – не пощадят...

– Но Иоле, тетя Родайка, мой Иоле! Ведь сражается он? Ведь без меня его убить могут, – в тоске и ужасе шептала Милица.

– А сможешь ты ему? Спасешь его от смерти, если будешь там? Сможешь во время битвы защитить его? – сурово допытывалась у племянницы старуха Петрович. – То-то и есть, девочка. Так лучше смиришься. Ничем тебе нельзя помочь в деле страшном. А здесь, по крайней мере, никто не помешает тебе за него молиться... К тому же и тут, в России, можно принести пользу нашей родине. Шей с подругами белье для раненых, для витязей-бойцов; работайте вместе. Много бедных солдат одеть надо. Вот и потрудитесь с подругами в досужее время. На днях я отвезу тебя в институт, и будешь ты там под надежной защитой, пока война длится, – закончила уже ласковым тоном тетя Родайка, и погладила прильнувшую к ней черненькую головку и залитую горячими слезами щеку Милицы.

Та только горько улыбнулась в ответ на эти слова.

– Ехать в институт! Сидеть в довольстве, холе и спокойствии, когда милый Иоле, отец, мать, Танасио, все любимые, все дорогие сердцу и самый город родной, и самое отечество выносят такое страданье, такой ужас! Когда, может быть, любимец-братишка давно уже лежит с неприятельской пулей в груди, а дом их обращен в развалины, а старик-отец... страшно подумать даже... О, Боже Всесильный и Всемогущий! Как будет жить с такими мыслями она, Милица? Как станет работать, шить белье, учиться, когда на душе её – буря и ад?... Но отец писал: нельзя ей возвращаться теперь на родину, когда там кипит и пылает война и она, Милица, никогда не дерзнет его послушаться... Но как ей жить, однако, теперь? Как вернуться в институтские стены и наслаждаться удобствами, комфортом и радостями ранней юности, когда родной её сердцу народ, а с ним и все её близкие терпят лютые невзгоды, переживая все ужасы войны?..

## Глава VI

– Взгляни на звезды, Танасио! Взгляни на звезды! Смотри, сколько их! Каждый раз, что я поднимаю глаза к небу, мне вспоминается наша старая Драга; она говорит, что звезды – это фонари, зажженные на переправах по пути к морю, отделяющему от нас райскую гору, где находятся наши праведники со святым Саввой<sup>12</sup> во главе. Право же, у старой Драги душа по...

Молодой артиллерийский офицерик, находившийся в палатке вместе с пожилым капитаном, начальником батареи, не договорил начатой фразы и замер на месте.

Где-то близко-близко, словно под самым ухом у него тяжело ахнула пушка, и грозный снаряд её с грохотом и треском разорвался в нескольких аршинах расстояния позади палатки. В ту же минуту яркий, нащупывающий темноту сноп прожектора осветил местность, расстилаясь фантастически-красивой дорогой поперек реки.

Пожилый, с седеющими висками офицер с юношеской легкостью вскочил с походной постели.

– Ну, брат Иоле, держи ухо востро. О сне теперь нечего и думать. Неприятель открыл, очевидно, позиции нашей батареи и будет теперь сыпать по ним даже ночью, без передышки, пользуясь прожектором и с Землина, и с парохода, что вторые сутки снует тут, по близости наших берегов. По крайней мере, вот этот снаряд прилетел к нам не с берега. Знаю это по силе удара. – И с этими словами капитан Танасио Петрович вышел из палатки. Его младший брат Иоле, только что выпущенный в подпоручики этим летом, юноша по восемнадцатому году, поспешил следом за ним. Сноп света из прожектора, направленный с реки, в тот же миг снова осветил берег Дуная с вырытыми на нем в одном месте траншеями, где чудесно укрытая от глаз неприятеля, хозяйничавшего у себя в крепости Землине в версте расстояния через реку, на противоположном берегу Дуная, находилась сербская батарея.

Осветил он и мужественное, с заметно тронутыми серебром кудрями, лицо Танасио и юные, прекрасные, с горящими отвагой глазами, черты Иоле.

И опять ахнула тяжелая пушка... Теперь снаряд упал почти рядом с крайним орудием сербской батареи и один из находившихся около зарядного ящика артиллеристов, их числа орудийной прислуги, тяжело охнув, стал медленно опускаться на землю. Несчастному снесло половину плеча и руку осколком снаряда. Иоле вздрогнул всем телом и метнулся, было, вперед:

– Разрешите мне, Танасио, разрешите мне ответить им тем же. Неужели же оставить не отмщенную смерть этого храбреца? – горячо заметил юноша, хватая за руку старшего брата. Он был взволнован и весь трясся, как в лихорадке. Черные глаза его так и горели, так и сверкали в темноте.

Но капитан Петрович опустил руку на плечо брата.

– Господин подпоручик, – произнес он официальным тоном, – я попрошу вас сохранять спокойствие, столь драгоценное качество на войне. Никаких выступлений боевого характера быть не должно и не может. Когда придет время, я первый прикажу вам сделать это.

И он отвернулся от молоденького офицерика и пошел отдавать приказание своим юнкам.<sup>13</sup>

Иоле сконфуженный остался на месте. Он понял, чего хотел от него старший брат. О, он тысячу раз прав этот мужественный, храбрый, испытанный смельчак, Танасио! Если только возможно завидовать тем, кого любишь, то он, Иоле, готов завидовать старшему брату, его храбрости, выдержке, стойкости и уму. И он стал смотреть ему вслед с нескрываемым восторгом. Чудесно прилаженный и укрытый со стороны реки костер, освещает лицо Танасио, его

---

<sup>12</sup> Св. Савва считается покровителем Сербии.

<sup>13</sup> Молодцам-богатырям, воинам.

мужественную фигуру. Вот он распоряжается насчет носилок, вот помогает поднять тяжело-раненого и, наклонившись к нему, оказывает своему подчиненному первую помощь. А он – Иоле, не умеет так поступать... У него кипит душа и сердце так и прыгает при первых боевых звуках. Только два месяца тому назад его поздравили с офицерскими погонями, а, между тем, ему кажется, что с той поры прошла целая вечность. Сколько событий пролетело с тех пор! Торжественный день выпуска. Поздравление их, вновь произведенных офицеров, королевичем Александром, славным доблестным королевичем, которого все юнаки, все войско любит поголовно, и за которого в огонь и воду пойдут они все, как и за самого престарелого короля Петра. Присяга в его присутствии... Потом, Сараевское убийство... Потом предьявление ноты, объявление войны одновременно с разбойным нападением на Белград. Благословение его матерью образком святого Саввы... Поучения отца... Письмо от Милицы, от милой, дорогой сестры, с которой его разлучила судьба, но с которой он не прерывал переписки и которую любит так братски-нежно! И вот, он на батареях, под начальством брата. Он давно выбрал этот род оружия для себя. Его старый отец – артиллерист, Танасио тоже... И он, Иоле, хочет идти по их стопам. Но до сих пор ему еще не удалось отличиться. А между тем, вся душа его так жаждет подвига, так кипит желанием сделать что-нибудь особенное, исключительное для дорогой родины, даже если надо было бы пожертвовать жизнью для того. При одной мысли только о возможности такого подвига, Иоле весь закипает восторгом, весь горит... Но пока, увы! Не предвидится еще и возможности такого случая... Правда, всего несколько дней только, как бомбардируют Белград. И самое жаркое еще у них всех впереди... И он, Иоле, будет молить святого Савву, чье святое изображение носит он на груди, доставить ему возможность стать участником того жаркого, славного, что неминуемо должно совершиться под южным небом его дорогой страны. Он взглянул наверх... Какая ночь!.. Теплая, бархатная, благовонная... И потому-то хочется молиться, глядя на золотые звезды! Вспоминается еще раз старая Драга... Её наивная легенда. Потом глаза сестры Милицы, такие же горящие, как эти звезды. И снова мысль послушно и капризно перебегает с них к бомбардировке австрийцами родного города. Многие дома уже разрушены в нем. Его собственная милая семья, семья Иоле, не выходит из погреба-землянки, вырытой в глубине сада. И мысли об отце и матери, переносящих всевозможные волнения, беспокойства и неудобства, благодаря тем же ненавистным врагам, не выходят из головы Иоле. Его руки невольно сжимаются в кулаки, его глаза, устремленные в ту сторону, где должен находиться Землин и вражеское судно на реке, посылающее из своих пушек гибель обывателям и зданиям Белграда, горят злым огнем. О, если бы броситься туда с храбрыми юнаками, взять неприятельские батареи, заставить замолчать австрийские пушки! Но там их много, этих ненавистных защитников Землина!.. Вдесятеро больше, чем здешних, славных сербских юнаков. И...

Опять обрывается мысль Иоле. Тяжелый снаряд шлепается близко, срезает, словно подкашивает, прибрежное тутовое дерево и зарывается воронкой в землю, обсыпав юношу целым фонтаном взброшенного кверху песку и земли. Иоле с засыпанными глазами падает на траву, как подкошенный.

– Что с тобой, ты ранен? – подскочив к младшему брату, забыв всякую начальническую официальность, взволнованно кричит старший.

– Нет, нет, голубчик Танасио, успокойся, – снова быстро вскакивая на ноги и, протирая глаза, произнес молоденький офицерик.

Бледный, взволнованный капитан Петрович по хлопал по плечу брата, чтобы не дать ему заметить свое волнение и полушутливо проговорил по адресу Иоле: – Приучайся, приучайся, привыкай к боевым неожиданностям и невзгодам, мой сокол. Ну, вот и принял первое боевое крещение, не огнем, а песком...

А сердце сжималось в это самое время страхом за жизнь младшего братишки. Ведь красавчик Иоле был любимцем семьи! Ведь, не приведи Господь, убьют Иоле, старуха-мать с ума

сойдет от горя, и не захочет без него жить!.. – вихрем пронесется жуткая мысль в мозгу боевого героя. Потом приходит на ум её недавняя просьба, просьба взволнованной, любящей матери-старухи.

– Танасио, сокол мой, – шептала она, отправляя на позиции обоих братьев, – береги брата, помни, Иоле, должен...

Она не договорила тогда и залилась слезами. И тогда же, он, капитан Танасио Петрович старший дал ей торжественно слово беречь брата, насколько это возможно только в боевом чаду. И вот, как на зло, австрийцы открыли их убежище и, не глядя на ночь, стали сыпать сюда снарядами из своих смертоносных орудий. Снова заиграл прожектор, обнимая своим ярким светом реку, и капитан Петрович увидел совсем ясно, как днем, большое неприятельское судно, находившееся в какой-нибудь полуверсте от берега. На борту этого судна находилось несколько орудий, которые и засыпали снарядами ту часть берега, где находились траншеи. Отвечать на них батарейным огнем капитан Петрович положительно не мог. Открыть огонь значило бы обнаружить точное присутствие на берегу сербских пушек и дать возможность более верного прицела врагу. Другое дело, если бы можно было заставить замолчать австрийские орудия без единого выстрела со своей стороны. Совсем забывшись под впечатлением охватившего его волнения, капитан Танасио произнес вслух эту мысль. Юный Иоле стоял подле брата. Дрожь невольного восторга охватила юношу.

– Танасио, – прошептал он тихо и сразу же замолчал, осекся, – господин капитан, – после новой продолжительной паузы прозвучал его дрогнувший голос, – господин капитан! Если вы будете выкликать охотников для ночной разведки, умоляю вас, не забыть среди их имен имя подпоручика Иоле Петровича – твоего брата, брат Танасио, твоего брата... – заключил еще более взволнованно и пылко молодой офицер.

Капитан Петрович при слабом отблеске костра успел разглядеть горящие глаза Иоле, его воодушевленное лицо и молящую улыбку. Неизъяснимое чувство любви, жалости и сознания своего братского долга захватили этого пожилого офицера. Он понял, чего хотел Иоле, этот молодой орленок, горячий, смелый и отважный, достойный сын своего отца. Он понял, что юноша трепетал при одной мысли о возможности подобраться к неприятельскому судну и в отчаянном бою заставить замолчать австрийские пушки.

Сам капитан Танасио слышал это желание из уст Иоле нынче не однажды в продолжение последнего дня, когда вражеские снаряды сыпались на их берег. И вот сейчас он снова молит его о том же. Безумно отважный мальчик! И ведь он смог бы с горстью храбрецов кинуться на прекрасно вооруженный военный пароход неприятеля и, несмотря на численность последнего, заставить принять штыковой бой!

Но он-то, Танасио, не безумец и должен охранять брата, должен избегать давать ему опасные поручения. Ведь он поклялся в этом старухе-матери. И сдержит во что бы то ни стало данную клятву.

Капитан Танасио внимательно и зорко глядит на брата, глядит минуту, другую, третью. Потом говорит сдержанным, но твердым, не допускающим возражение, голосом: – Нет, подпоручик Иоле Петрович, на этот раз нам не потребуется услуги охотников. Было бы слишком безрассудно посылать людей на верную смерть...

Все душевнее, все жарче дышит благовонная ночь юга. Нестерпимо пахнут цветы в королевском саду, и нет-нет душистая волна роз и магнолий потянется со стороны дворца к южному берегу. Уже давно замолчали неприятельские пушки на вражеском судне, и полная тишина воцарилась теперь над опустевшим со дня начала бомбардировки городом.

– Ненадолго замолчали они, юнаки, – говорил, укладываясь на землю для короткого отдыха, старый серб-артиллерист, работавший еще в русско-турецкую войну вместе с капитаном, теперь старым калеккой, Данилой Петровичем, – утром опять загремят, разбойники!

Остальные солдаты не могли не согласиться с ним. Каждый из них знал отлично о той горячке, которая ждала их на рассвете. Из Землина аккуратно каждый день летели теперь на почти что беззащитный город снаряды; а тут еще новый враг, военное судно, хорошо вооруженное тяжелыми пушками, слало им в свою очередь непрошенные гостинцы со стороны реки, пользуясь тем, что защитники Белграда не успели вооружиться как следует, не ожидая такого стремительного начала военных действий. Слишком мало было батарей на берегу Белграда, чтобы отплачивать в том же количестве, в той же силе неприятелю. Вся артиллерия, за небольшим исключением, имевшаяся налицо в городе, была отправлена на другие пункты.

И никто из малочисленных защитников города не предугадал неожиданного появления неприятельского судна близ Белграда. Для всех это был очень тяжелый сюрприз.

\* \* \*

Юному Иоле не спалось в эту ночь в его палатке. Он то прислушивался к храпу Танасио, разбитого усталостью до полусмерти, и потому умудрившегося уснуть сразу, как только прекратилась неприятельская пальба; то, приподняв голову с подушки, всматривался в далекое бархатное небо, испещренное миллионом звезд, глядевшее в узкий просвет палатки. И все думал и думал о неприятельском судне. Думал о том, сколько людей еще перебьют австрийские снаряды, пока свои родные сербские пушки не пустят ко дну дерзкий пароход. И почему Танасио не решается принять более крутые меры? Почему? – мысленно допытывался юноша.

Вдруг словно горячая волна обдала все существо Иоле. Он вспомнил, что где-то читал, еще в детстве, как один витязь-юнак привел в негодность вражеские орудия, пробравшись в неприятельский лагерь и этим оказал незаменимую услугу своему войску. Что если и он – Иоле?..

Танасио не решается произвести открытого нападения; он бережет людей, дорожит своей батареей. А против той мысли, которая явилась в голову Иоле, конечно, он не станет, не должен возражать. Да и рассказывать ему ничего не надо. Ведь если идти на этот отчаянный шаг, Иоле не нужно помощников-юнаков. Он справится и без них, конечно, один. Ах, если бы удалось ему только!

Теперь он уже думает об этом, как о давно решенном деле. Быстро и легко соскакивает Иоле со своей койки и выходит за дверь.

Танасио спит. Его люди тоже. Завтра, лишь только проснется солнце, они снова вскочат на ноги, чтобы с достоинством принять вызов врага. Орудийная прислуга устроилась за щитами на земле. Только часовые медленно прохаживаются вдоль по траншеям. Один из них узнал в темноте Иоле, и отдал ему честь. Юноша махнул рукой и прошел дальше к самому берегу, к самой воде Дуная. Здесь у небольшой бухты они часто в детстве купали рыбу со старой Драгой и с сестрой Милицей... Где-то она? На миг мысли Иоле перелетают к младшей сестренке. Мелькает её образ, её задумчивые глаза, слышится её милый грудной голос. На минуту юношу захватывает нежность и сладкая тоска по сестре. Но это только на минуту, не дольше. Он встряхивает головой, выпрямляет плечи. – Как она будет гордиться мной, если мне удастся... – говорит он сам себе и, не доканчивая своей мысли. Быстро отстегивает кобуру с револьвером Иоле и прилаживает ее на спине. Засовывает короткий кинжал за пазуху. Подтягивает крепче ремень оружия и быстро, в два-три прыжка, кидается в кусты, растущие у самого берега...

Теперь вода реки чернеет всего только в нескольких шагах от него. Иоле приподнимает фуражку, и трижды осеняет себя крестным знаменем. Потом вынимает из-за ворота образок Св. Саввы, благословение матери, и целует его... Еще и еще... Минутное колебание... Легкий быстрый скачок, и холодная вода в одно мгновение принимает в свои хрустальные объятия юношу.

Иоле с детства умеет плавать, как рыба. Он и у себя в военном училище славился всегда, как прекрасный пловец. К тому же он достаточно вынослив и силен для такого спорта.

После знойной июльской ночи, студеная вода реки словно обжигает юношу. Но это только в первый момент. Не проходит и пяти минут, как её колючие волны, плавно расступаясь под ударами его рук, перестают источать этот холод. Юноша плывет легко и свободно, по направлению к черному чудовищу, которое еще час тому назад, как бы шутя и издеваясь над небольшой частью защитников побережья, слала к ним гибель и смерть из своих гаубиц.

Военное судно находится в какой-нибудь полуверсте от берега. Иоле знает отлично его расположение, знает, что неподалеку от него торчит остов недавно затонувшего их же сербского небольшого парохода. Лишь бы добраться до него, а там, после короткого отдыха, куда легче будет плыть дальше. Напрягая мускулы, изо всех сил гребя руками, Иоле подвигается вперед. В ночной темноте ни зги не видно. Но видеть что-либо и не надо Иоле: местоположение неприятельского судна он изучил прекрасно, со дня его появления здесь. Все ближе и ближе подплывает он к «врагу». Все укорачивается расстояние между ним и «австрийцем». И это как раз во время, как раз кстати, потому что руки юного пловца уже начинают неметь; немеют и усталые ноги. Теперь Иоле почти натывается на что-то твердое и большое, что, как огромная чудовищная рыба, торчит из воды. Слава Господу Богу и святому Савве, покровителю их храброго народа! Он у затонувшего сербского пароходика. Сильным движением хватается Иоле за борт его, и на мгновение застывает в сознании короткого, но чрезвычайно приятного отдыха. Сейчас он весь отдается охватившему его покою, все еще держась за борт затопленного суденышка. Затем, делает невероятное усилие над собой и, поднявшись на мускулах, перебрасывает свое тело на борт его, вернее, на небольшую часть палубы, не залитую водой. Сейчас на корме парохода он быстро сбрасывает с себя верхнюю одежду и, оставшись в одном нижнем платье, выдергивает из ножен небольшой кинжал. Теперь револьвер в кобуре прикреплен к спине Иоле. Кинжал же он держит во рту; сабля оставлена за ненужностью... Еще небольшая минута отдыха и, перекрестившись, юноша снова погружается в холодные воды реки...

\* \* \*

На борту неприятельского судна царит полная тишина. Утомленные непрерывной работой, люди спят сейчас крепким, оживляющим и бодрящим тело и душу сном. Четыре тяжелые орудия, гремевшие непрерывно по белградскому берегу, сейчас как будто отдыхают тоже. Орудийная прислуга спит на палубе, неподалеку от них. Бодрствуют одни лишь часовые... Иоле слышит их четкие и мерные шаги. Привычным ухом различает только двух бодрствующих караульных. Вот один, ближайший, приостановился... Должно быть, услышал плеск воды у борта и прислушивается к нему. И в темноте южной ночи звучит его голос, полный тревоги и беспокойства.

– Wer da?<sup>14</sup>

Иоле замирает на мгновение... Что делать теперь? Если смолчать, австриец поднимет тревогу, пальбу... И тогда несдобровать ему, Иоле. Жаль жизни, конечно, жаль старой матери, отца и Милицы, для которых его гибель будет отчаянным горем, но еще жальче не довести до конца начатое предприятие, предприятие, от которого зависит хоть некоторое благополучие их отряда и сотни человеческих жизней будут спасены. Ведь с рассветом снова заговорят проклятые австрийские пушки, опять запрыгают снаряды по берегу, опять станут вырывать горстями людей из рядов славных защитников города. Нет, нет, необходимо пресечь это сразу. Отчаяние придает новые силы и энергию Иоле. Быстрая, лукавая и безумно-смелая мысль вдруг внезапно осеняет его мозг.

---

<sup>14</sup> Кто там?

Какое счастье, что старая мать так заботилась о них со дней детства! Она, точно предчувствуя всю грядущую пользу знания языков для своих детей, учила и его, Иоле, и Милицу говорить по-французски и по-немецки. Особенно последним наречием Иоле владеет в совершенстве. И сейчас, в эти роковые минуты жизни, решает воспользоваться им. До смешного ясен и прост пришедший ему сейчас в голову план. Ну да, конечно, необходимо, прежде всего, чтобы неприятельский часовой принял его за австрийского дезертира и помог ему взобраться на палубу. А там уже, он, Иоле, сумеет справиться с ним. Нет ничего легче изобразить из себя блудного сына австрийской армии, раскаявшегося и возвращающегося на лоно родины. Да, да, он так и сделает сейчас. И не медля ни минуты, юноша на новый окрик часового: кто же там? Будут ли мне отвечать? спешит произнести взволнованным голосом, совершенно чисто и правильно отвечая по-немецки:

– Das bin ich...<sup>15</sup> Я вернулся... я не могу больше... Пусть расстреливают меня... Все же лучше погибнуть от родной пули, нежели спастись, укрываясь, как заяц во вражеской земле... Выкиньте мне канат, я умираю от голода, усталости и тоски.

Голос Иоле, действительно, похож теперь на голос умирающего. В нем дрожат искренние ноты тревоги... Должно быть, эта тревога более всего остального и убеждает неприятельского матроса в искренности юноши.

– Не ты ли это, Карл? – звучит уже много тише голос австрийца. – Я так и знал, что ты вернешься, рано или поздно, товарищ... Так-то лучше, поверь... Долг перед родиной должен был заставить тебя раскаяться в таком поступке. Вот, получай, однако... Бросаю тебе канат... Ловишь? Поймал? Прекрасно?... Спешите же... Да тише. Не то проснутся наши и развязка наступит раньше, нежели ты этого ожидаешь, друг.<sup>16</sup>

Сейчас Иоле готов задохнуться от неожиданного счастья. Этот невидимый часовой, очевидно, принимает его за какого-то беглого солдата Карла. О, как хорошо складываются обстоятельства до сих пор! Сама судьба, само небо вмешалось как будто в опасное предприятие Иоле и дает ему возможность проникнуть так просто на борт неприятельского судна... в Легкий всплеск воды подле самой его руки дает знать Иоле, что веревка уже брошена... Вот конец её... Его пальцы ловко подхватывают его... Так же быстро Иоле работает теперь обеими руками, поднимаясь на палубу, как до этого работал ими, плывя в холодной пучине по направлению австрийского судна. Вот все ближе и ближе подвигается он к цели. У самого борта его ждет неприятельский часовой. Он стоит у самого края палубы и, сильно наклонившись вперед, – весь внимание, зрение и слух. Еще минута, один коротенький миг, и голова Иоле показывается над палубой... За головой плечи, спина и руки...

– Ну, вот ты снова с нами, Карл... что... – начинает тем же шопотом часовой и не доканчивает начатой фразы. С легкостью и быстротой дикой кошки Иоле бросается с поднятым кинжалом ему на грудь. Тихий, чуть внятный стон и австриец медленно опускается на доски палубы, подхваченный ловкими руками Иоле.

Не теряя ни минуты, юноша быстро раздевает поверженного им врага... Снимает с него мундир, сапоги, кепи и также быстро надевает все это на свое собственное мокрое тело и белье. Потом отталкивает убитого в сторону и, взяв его ружье в руки, замирает с ним на несколько минут... Другой часовой в эту минуту приближается к Иоле. Надо, во что бы то ни стало, усыпить его бдительность, сыграть роль только что погибшего австрийца. К счастью, этот второй часовой не доходит до той части палубы, где только что бесшумно произошла катастрофа. Удаляющиеся шаги его наглядно доказывают это.

Иоле прислушивается еще несколько минут, потом, быстро и ловко лавируя между спящей орудийной прислужгой, ползет по доскам палубы туда, где находятся грозные источники

<sup>15</sup> Это я!

<sup>16</sup> За дезертирство, т. е. бегство из рядов армии во время войны, полагается смертная казнь.

смерти. Его руки сами натываются на холодные остовы неприятельских пушек. Слава Господу и его святым, он, Иоле, у цели сейчас!

С нечеловеческой энергией, в полной темноте, действуя осторожно, ощупью и насколько возможно бесшумно, Иоле отвинчивает замок первого ближайшего к нему орудия.

Покончив с первым, также быстро и все также ползком перекидывается ко второму. Теперь сложив оба в уголку палубы, Иоле ползет к третьему, находящемуся несколько в стороне от других, прислушиваясь в то же время и к могучему храпу орудийной прислуги и к шагам второго часового, снова приближающимся к нему. На секунду он приостанавливает свою бесшумную, лихорадочную работу... Часовой уже в нескольких шагах от него. Трепеща всем телом, Иоле выжидает его приближения... Подпускает его к себе чуть ли не вплотную... Минута... вторая... третья... Легкий стук выпавшего из рук ружья, и солдат валится на палубу, не успев произнести ни слова...

Еще недолгая упорная работа, несколько томительных минут её, и все четыре замка австрийских пушек находятся теперь в руках Иоле. Все также лихорадочно-быстро он привязывает их к концу каната, чтобы не производить шума при резком бросании их с палубы и тихо-тихо погружает канат с замками за борт, в воду.

Теперь остается только последовать вслед за ними. Огромная по трудности работа совершена. Часть неприятельских пушек, громивших их берег, замолчала, благодаря ему, Иоле, надолго, может быть, навсегда.

Теперь туда... в обратный путь, скорее, скорее!..

Но что это? Иоле слышит чей-то резкий голос, окликающий его в темноте. Неужели третий часовой, которого он не заметил прежде? Или это проснулся кто-то из орудийной прислуги? Не все ли равно, кто! Опасность налицо и нечего о ней рассуждать дольше! Отвечать опасно. Иоле отлично понимает это... С быстротой, свойственной ему, он бросается к борту... Секунда, одна секунда задержки только и, быстро сбросив с ног неприятельские сапоги, юноша турманом летит в темную пучину реки...

В тот же миг сухой короткий треск раздается у него за спиной... За ним еще один, еще и еще... И громкий крик на палубе, крик, призывающий к тревоге, будит ночную тишину.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.